

М. М. ПРИШВИН**Из дневников****1922***14 сентября*

Третьего дня с «Федоровцем» был у Серг. Тим. Коненкова¹, и очень он мне понравился. Это настоящий художник, с религиозной философией, когда говорил об этом, то совсем как религиозные люди из народа, и чувствуешь, что народ наш религиозен. О воскрешении отцов Федорова он сказал, что это очень хорошо, но по Христу все-таки должно быть, что не мы, а Он сам, в конце концов, их воскресит. <...>

20 декабря

Учение Федорова — «философия общего дела» — есть тот же наш коммунизм, только устремленный не в будущее, а в прошлое: там мы работали для счастья наших детей, здесь — для блаженства наших отцов. Одно движется ненавистью к прошлому, другое любовью и чувством утраты. Одно основано на идее прогресса (стремление молодости к лучшему: движение вперед, варварство), другое — на любовной связи с отцами (отец воскресает в сыне: культура, дело связи).

Ник. Алпатов — представляет одно движение, Мих. Алпатов — связь. Один говорит: наше лучшее находится в прошлом. Другой: наше лучшее в будущем. И это верно, потому что наше лучшее мы воскресим в своих детях².

1923*23 марта*

Когда сообразишь свою жизнь (со-образишь), то она располагается по кругу: в начале дом, где рождается дитя и получает

стремление уходить куда-то вперед. Но это ему только так кажется, что движение его совершается вперед по прямой линии. Это обман преобладающего роста разума: вероятно, так передается себе простой физический рост мозга. Сущность этого движения — не отстать от других и быть как все. В русской сектантски-интеллигентной молодежи этому психическому состоянию соответствует верование социализма (коммунизма), которое каждому отсталому и даже последнему дает надежду быть как все. Прямолинейное центробежное движение из дому с конечной целью быть как все под влиянием центростремительной силы эроса дает, в конце концов, движение по кругу, но сознание этого приходит, вероятно, во время окончания процесса роста мозга, в момент встречи с проблемой пола. С этого момента начинается зачатие личности, при ярком внезапном свете (любовь) жизнь человека вступает во второе полукружие, рожденная личность (второе рождение), стремясь не быть как все, направляется к центру (эрос), но силой общественного мнения, центробежной, отвлекается в сторону, и так слагается движение домой, к своей самости. Таких кругов, выходящих из дому и возвращенных домой, в жизни иного человека бывает много, и все движение идет вверх по спирали, так что дом второй приходится над первым, выше его, третий дом еще выше, и так растет как бы один дом со многими этажами вверх: внизу домика материальное основание — родина, над родиной отечество, над отечеством творческие труды, над ними прямое любовное воздействие на людей и воскрешение отцов (церковь, в которой священником Я).

1928*13 января*

Сочельник Нового года. Читал книгу «Смертобожничество»³, в которой автор, примыкая к Федорову, говорит, что истинная христианская идея — это победа человеком смерти, тогда как обычная [1 нрзб.] религий это, наоборот, обожествление смерти.

Горский говорит, что острое отношение Толстого к смерти явилось у него через Федорова. И еще, что уход Толстого есть очень сложное явление, до сих пор не разгаданное. Этим уходом Толстой будто бы зачеркивал все свое толстовство⁴.

Тарасиха⁵ сказала: «Умрем-то, конечно, уж мы все, это никого не обойдет». Горский сквозь зубы: «Все ли?» Тарасиха странно посмотрела на него и продолжила: «Я себе место дешево купила в Лавре. Кто вам его охранять будет? — спрашивают меня. — Сама, — говорю. И правда, что мне стоит [1 нрзб.], а дешево. Вот бы теперь, когда дешево продаются места, всем бы... — Горский сквозь

зубы: «Всем ли это нужно?» Тарасиха вздрогнула: «Всем батюшка, всем это» — «Всем ли?» — «Да в уме ли вы?» <...>

31 июня

Был у меня Горский. Из этой беседы мне стало понятно, почему я не пишу романов («Кашеева цепь»⁶ — не роман, это жизнь). Начиная с «Онегина» Пушкина, русский роман отрицает роман (мысль Горского)⁷. Происхождение этого в распаде религии: наука — мертвая вода, искусство — сознательная иллюзорность (пример: роман). Отсюда и мое устремление сделать искусство методом исследования жизни. <...>

28 июля

<...> Мои похождения. «Положа руку на сердце» говорю, что никогда не осмеливался думать о беллетристике как о пошлости, хотя все крупные русские писатели, начиная с Пушкина, занимаясь писанием романов, высказывались о романах как о пошлости.

Некто А. К. Г<орски>й привел мне множество примеров глумления над романами русских романистов. По его словам, это объясняется тем, что европейское искусство с давних времен заняло иллюзорную позицию к жизни, и читатель всерьез говорит о словесном искусстве только как об «отдыхе»: обманул на несколько часов, и то хорошо. Таким образом, в наших русских условиях, где литературный обман не нашел еще вполне крупных фабрикантов и прочего сбыта, не является в голом виде, а по-детски наивно тащит за собой из недр земли-жизни корневище правды, истины, справедливости, красоты. Крупные русские писатели не пером пишут, а плугом пахнут по бумаге, прибывая ее, вывертывая на белое черную землю. Вот почему легкое писание, беллетристика русскому кажется пошлостью, и русский писатель кончает свой путь непременно той или другой формой учительства и объявляет дело всей своей прошлой жизни «художественной болтовней». И если иные и не кончают учительством, а остаются художниками до конца, то это искусство не совсем свободно, в нем какой-то безумный загад смотреть и радоваться солнышку, когда голова будет отрублена. Не знаю, кого бы назвать из таких писателей? Вероятно, если ничего не переменится, я сам буду такой...

3 августа

<...> Читал в газетах о новой затее пауперистов. И думал о нас. Там, в международном пространстве, наше дело не бессмыслица только и обман, как представляется здесь. Наша идея «общего дела» не дело, а знамение времени, эта идея в отличие от католической материальна и варварски проста. Это кость, которой долго

еще будут давиться. Вместе с тем эта кость и есть наша национальная значимость: без нее мы — колония Европы. Нам, последним из могикан, остается два пути: сдать на положение колонии или же рассасывать большевизм в направлении философии «общего дела»... до встречи ее с идеей католической. Все это надо держать в уме и выказывать только творческим путем.

7 августа

<...> Всеобщее разочарование в «счастье» происходит потому, что огромное большинство людей свои творческие возможности топят в привязанности к людям и так обманывается. Таким образом, большинство людей — это пленники «счастья», вначале фанатики, а потом мизантропы. Те немногие хорошие люди удивительны тем, что встречают тебя впервые, как будто давным-давно знали тебя как хорошего близкого человека. Они видят общее всем людям, присущее в них доброе начало и посредством особого, свойственного им родственного внимания, мгновенно как бы создают из тебя человека, и так делаешься хорош сам себе. Они смотрят куда-то выше, но не мимо частностей, и тем увлекают с собой. Возможно, что и в их жизни была заминка личного счастья и оставила в них боль, но, мне кажется, это не обязательно; есть и «урожденно» хорошие люди (особенно из крестьян), не имеющие понятия о трагедии личного счастья.

Творчество жизни обыкновенно проходит мимо людей, потому что они слишком заняты собой. И творцы жизни могут пройти тоже мимо людей. Но бывают из них творцы, сверх всего наделенные даром родственного внимания. Это они создатели «гуманизма». Но увлекаясь ими, не надо забывать, что гуманизм, это их родственное внимание к людям, не главный бриллиант в их короне, главное — это их основная творческая натура, одинаковая с натурой творцов жизни, проходящих без всякого внимания к человеку. Христос, проповедуя любовь и умирая за людей, всегда помнил Отца, но «гуманисты» обыкновенно не знают Отца и поклоняются простому человеку, забывая, что человек без Отца оставлен в движении и мертв. Это явление хуже фетишизма, потому что там все очень наивно, там простота сознания является почвой, удобной для возделывания.

<На полях:> Не надо забывать и то, что есть творчество, застывшее в Отце и сознательно минующее человека. Оно и вызвало гуманизм против католиков. То и другое чередуется и живет постепенно, как бы отвердевая в победе.

Сейчас мы переживаем конец воинствующего гуманизма, следующая эпоха будет возвращением к религии. Одна часть интеллигенции (повернет?) в католичество, другая будет возрождать православие. Ученье Федорова сыграет свою роль. Под маской его

коммунизм вернется в церковь. Но главный поток пойдет по руслу «личного счастья», и этот поток, может быть, будет так велик, что тот религиозный поток будет просто сигналом полного конца...

NB. Если я буду продолжать писать Алпатова⁸, то вот и надо взять водоросль как творческий принцип (Отца), а спуск озера (Золотая луговина) — это гуманизм, это его «родственное внимание» к людям, которое он должен оставить ради Отца. Восстание мужиков безобразно. «Человечество» отвратительно, когда за себя идет против творчества общей жизни. Оно чудесно и человек царь природы, когда его человеческое творчество согласовано с творчеством мира. <...>

30 сентября

<...> Смертобожие. Вопрос Горького: «и смертобожие знаете?» и одна скользкая фраза его в статье о физике вроде того, что «человек должен преодолеть свою физику» и проч., открывает мне, что «смертобожие» проникло уже в его увлекающуюся голову. Весьма возможно, что разложение большевизма, с одной стороны, а с другой — возрастающая потребность в духовной жизни воздымут наверх учение Федорова, как волю к бессмертию тела, и большевизм попадет таким образом в руки попов. (Не забыть сцену у Тарасихи. Говорили о покойнике. Т<арасиха> перекрестилась и, вздохнув, сказала: «Все там будем». Вдруг явственным шепотом слышались слова: «Все ли?»)

Федоров — большевик православия. В книгу о творчестве⁹ надо непременно среди богоискателей поставить ученика Федорова и сознательного последователя (Г<орског>о) и бессознательного (Легкобытова). Однако надо иметь в виду, что и «святая плоть» Мережковского и «язычество» имеют те же мотивы (даже и «материализм» большевиков).

<...> Я вынужден сочинять роман, чтобы продолжить в другом лице себя самого. Вот похожее на мое было с инженером Алпатовым в эпоху первой революции, когда он, казалось ему, только вследствие цепи причин своей единственной неповторимой личной истории из Парижа, Берлина, Лейпцига и Петербурга попал в болотную глушь к мужикам. Но мы знаем теперь, что только страстная форма переживаний эпохи была его особенностью, что то же самое «язычество», похожее на искание бессмертия тела, было и в проповеди Мережковского о «святой плоти» и в первых стихах Вячеслава Иванова, в «Будем как Солнце» Бальмонта, в возвращении к роду В. Розанова, во всей кутерьме декадентства и [1 нрзб.] богоискательства безмерная была тяга к народным низам, к земле... Да и что такое революционный материализм? Разве и в нем, столь враждебном к мистике, не то же стремление к бессмертию плоти? <...>

18 декабря

<...> Надо обдумать следующую тему: рабочая ценность русского рев<олюционного> сознания, представленного от Чернышевского до Ленина, только ли заключается в деле свержения монарха, или она является также фактом новой культуры. Я хочу сказать: местное ли только значение имеет русск<ая> революция или всемирное. Я хочу сказать о значении не в смысле политическом, а культурном, т. е... Не то. Я хочу сказать, напр<имер>, о своем Алпатове или Воронском и всяком коммунисте, — что он, выйдя из сферы разрушительного революционного действия на путь созидательный, может ли привести из своего революционного действия какой-нибудь новый фактор в творчестве законов жизни и форм, или же он, встречаясь впервые с фактором творчества, действовавшим во все времена, будет взят ими целиком и станет обыкновенным деятелем с отличием за борьбу с царизмом.

Ответ из-под рук. Огромное большинство утонет, растеряется в безличии, и все так долго будут идти безлично, пока не явится лицо, которое в формальную идею социальной революции не вольет кровь наших отцов, не откроет питание для идеи в дремлющих силах нашего прошлого. (Учение Федорова прямо просится в революцию.)

<На полях:> В адресном столе найти Горского.

